

ЖАНР «РАЗГОВОРА» В ЛИРИКЕ К.К. ПАВЛОВОЙ

В 1848 и в 1854 гг. Павлова пишет два стихотворения, которые значительно и по многим позициям отличались от всего, что было ею создано прежде. Это «Разговор в Трианоне» и «Разговор в Кремле». Сам жанр поэтического «разговора», разумеется, не был новым для русского читателя. Ему были знакомы и памятливы такие произведения, как «Разговор с Анакреоном» Ломоносова, «Отрывок из Гете» Грибоедова, «Разговор книгопродавца с поэтом» и «Поэт и толпа» Пушкина, «Поэт и друг» Веневитинова, «Журналист, читатель и писатель» Лермонтова, «Поэт и гражданин» Некрасова и многие другие.

Но во всех этих случаях перед нами были диалоги в чистом виде без всякого участия в них автора: обозначается говорящий, и затем следуют его слова. У Павловой же в обоих случаях наличествует авторское «я». Отличаются они от лирических стихотворений поэтессы и по своему размеру, приближаясь к небольшим поэмам. Но самое главное, чего не было прежде: они появились как отклики на важные политические события и выявляли раздумья над историческими и философскими проблемами, чего также никогда не бывало прежде.

Существуют сведения, что Павлова считала «Разговор в Трианоне» лучшим своим произведением. Так это или нет, но и оно, и «Разговор в Кремле» – это произведения этапные, поднимающие проблемы, бывшие предметом длительных и, возможно, мучительных размышлений поэтессы. Хотя участники «Разговора в Трианоне» – люди XVIII века, он был очевидным эхом революционных потрясений 1848 года.

«Разговор в Кремле» создавался в ожидании приближающейся войны с Англией, направившей в Балтийское море свой флот, который остановился недалеко от Кронштадта и представлял непосредственную угрозу Петербургу. Эти события не могли не всколыхнуть горячие споры, которые велись в 1840-х гг. об отношениях России с Западом, о ее настоящем и будущем, о причинах ее отсталости в сравнении с Европой, о ее духовном величии и перспективах избранного ею собственного исторического пути.

«Разговор в Трианоне» происходит на фоне беззаботного веселья французской придворной знати, когда на протяжении ночи «не унимался... веселый шум и длился бал»,

И в толках о своих затеях
 Гуляли в стриженных аллеях
 Толпы напудренных маркиз [1, с. 130].

«Напудренные маркизы», были, разумеется, далеки от каких-либо предчувствий того, что произойдет в ближайшем будущем, но читатели стихотворения хорошо знали, что Трианон был резиденцией Людовика XVI, казненного 31 января 1793 г. по приговору Конвента, и уже само название бросало на все последующее зловещий отблеск. Но были в этом парке два человека, не разделявшие царящего вокруг безмятежного веселья, «и меж ними Иная продолжалась речь».

Первый, «сын юга», высокий, странный человек с метким взором и холодной улыбкой, – это Калиостро, мистификатор и авантюрист, вращавшийся в европейских придворных кругах и снискавший репутацию волшебника. Второй, рябой и безобразный, с думой злою и повадкой львиной, – Мирабо, видный деятель Великой французской революции, сыгравший в ней значительную роль, но посмертно уличенный в тайном сговоре с королевским двором, после чего его прах был перемещен из Пантеона, бывшего усыпальницей великих людей Франции, на кладбище для преступников.

Оба они провидят трагические потрясения грядущего. Мирабо говорит:

Пусть тешится слепое племя;
Внезапно среди его утех
Прогрянет черни рев голодный,
И пред анафемой народной
Умолкнет наглый этот смех [1, с. 139].

Его собеседник также убежден, что народы влекомы «роковой силой» и не откажутся от «старого долга».

Он взыщется сполна и строго,
И близок тяжкий день уплат.
Свергая древние законы,
Народа встанут миллионы,
Кровавый наступает срок [1, с. 140].

Но в отношении дальнейшего их прогнозы расходятся. Калиостро настроен скептически и считает, что грозные брожения утихнут, «опять понадобятся узы, / И бросят эти же французы / Наследство вырученных прав» – это, конечно, предвидение воцарения Наполеона. Мирабо настроен иначе:

Я твердо верю в человека
И не боюсь за него
Народ окрепнет для свободы,
Созреют медленные всходы,
Дождется новых он начал [1, с. 140].

Калиостро, устами которого в значительной степени говорит сам автор стихотворения, отвечает своему собеседнику обширным монологом, занимающим всю вторую часть стихотворения, т.е. более двух третей его общего объема. Нет, говорит он, меня нельзя увлечь громкими словами, Мирабо, по его мнению, идеализирует народ, перенося на него качества, присущие ему самому. Он предсказывает Мирабо его будущее: что народ провозгласит его любимцем и трибуном, внесет его кости в мавзолей, а потом с проклятьем и смехом разметет их по ветру.

Поскольку, по легенде, Калиостро прожил несколько тысячелетий, он перечисляет события, свидетелем, которых он якобы был: «шел с Моисеем я в пустыне», «я в цирке зрел забавы Рима», «был в далекой Галилее», «видел праздники Нерона» – все это его укрепляло в скептическом отношении к народу, неспособному осознать свои интересы, отдающему на расправу своих заступников.

Смотрел я на беду народа:
 Без сил искать себе исхода,
 С тупым желанием конца, -
 Ложась средь огненного града,
 Людское умирало стадо
 В глазах беспечного певца [1, с. 142].

«Заступник» народа, всходивший на костер «к веселью черни дикой» – это Савонаролла, сожженный по приговору папского суда, «убийство злое войнов храма» – расправа с тамплиерами, членами рыцарского религиозного ордена, обвиненными Ватиканом в ереси.

Шла избавительница края;
 И, бешено ее ругая,
 Народ опять ревел кругом.
 Она шла тихо, без боязни,
 Не содрогаясь к месту казни,
 Среди проклятий без числа... [1, с. 143].

Это – Жанна д'Арк и страшные картины Варфоломеевской ночи, во время которой «жадная чернь» расправилась с адмиралом Колиньи. И вот недавнее прошлое – картины европейских революций:

Я видел, как играл Кромвель
 Всевластно массою слепую...
 Я видел этот спор кровавый,
 И суд народа над державой;
 Я видел плаху короля...

И этот век стоит готовый
 К перевороту бури новой,
 И грозный плод его созрел... [1, с. 144].

Мирабо не переубежден, «махнул он дерзко головою, – И оба молча разошлись», а вокруг по-прежнему гуляют «толпы напудренных маркиз».

«Разговор в Трианоне» позволяет ощутить существенные расхождения между взглядами Павловой и идеологией славянофильства, которое вызвало у нее и притяжение и отторжение. Вера в народ, в преимущества народной морали, столь характерные для славянофилов, не разделяются поэтессой и получают опровержение в монологе Калиостро. Как справедливо отметил Е.Н. Лебедев, «Мирабо – сын века, Калиостро – сын вечности. Мирабо живет настоящей минутой и ближайшим будущим. Калиостро настоящую минуту оценивает в общем контексте времен...» [2, с. 24]. Обобщая многовековой опыт, Калиостро напоминает своему собеседнику о народном непостоянстве:

Всегда в его тревоге страстной
 Являлся, вслед за мыслью ясной,
 Слепой и дикий произвол;
 Всегда любовь его бесплодна,
 Всегда он был поочередно,
 Иль лютый тигр, иль смиренный вол [1, с. 141].

Однако Е. Лебедев несколько грешит против истины, когда утверждает, что «весь исторический материал “Разговора в Трианоне” – это ведь материал лишь западноевропейский, которому ничто не противопоставлено», что «в данном стихотворении К.К. Павловой “молчит сомнительно Восток”» [2, с. 25]. Если бы речь шла о том, что в «разговоре» не присутствует русская история, не с чем было бы спорить, да и странно было бы, если бы было иначе, учитывая личность собеседников. Но Восток отнюдь не молчит, а возникает в именах Моисея, Аарона, в названии Галилеи.

«Разговор в Трианоне» предназначался для напечатания в «Москвитянине», но изначально существовали опасения, что он не будет пропущен цензурой. Н.Ф. Павлов писал М.П. Погодину: «Есть у нее (Павловой) ее лучшее стихотворение, и она готова напечатать его в Вашем альманахе (т.е в журнале), но что скажет цензура и не будет ли неприятностей автору». [1, с. 561]. Стихотворение действительно было запрещено, причем в вину автору было, в частности, поставлено то, что «Мирабо верит в человечество и успех его дела». Первая публикация состоялась через 13 лет в Лондоне – в выпущенном Вольной русской типографией известном сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия».

Чрезвычайно высокую оценку дал этому стихотворению А.Ф. Кони. Он писал: «Особенно выделяется между произведениями Павловой написанный в

1848 году «Разговор в Трианоне», в котором блестящий стих сочетается с глубиной мысли, яркостью образов и богатой исторической эрудицией». В нем «проведена, подкреплённая рядом примеров, мысль о том, что выдающиеся события истории народов представляют собою смену проявления двух видов насилия: или одного над безответною толпой, или разъяренной толпы над стоящим нравственно выше ее... Можно смело сказать, что одного такого стихотворения было бы достаточно в Западной Европе, чтобы отвести автору почетное место в истории литературы. А многие ли у нас читали «Вечер в Трианоне» и на произнесенное имя Каролины Павловой не отвечают удивленным: “А кто это?”» [3, с. 563 – 564].

Как уже говорилось, «Разговор в Кремле» создавался в напряженные дни, когда реальной выглядела угроза войны с Англией, направившей свой флот в Балтийское море, и о влиянии этих событий на его создание указала сама Павлова: «...Я коснулась в нем предмета, священного для меня, и написала его во время, памятное нам всем. Прошедшею весною, когда мы ожидали событий неслыханных, бомбардирования Кронштадта и войны около Петербурга, отчаянного натиска и вдохновенного отпора, когда вся родина откликнулась, когда всякий делал, что мог, что имел, дала и я свой стих, – все, что имела» [4, т. 2, с. 333].

Тем не менее, сцена, воссозданная в стихотворении, к этим событиям прямо не привязана. Разговор посвящен проблемам, которые живо и даже ожесточенно обсуждались в предшествующее десятилетие: о сравнительных достоинствах и слабостях России и Запада, о духовном своеобразии России, особенностях ее пути в настоящем и в прошлом, о причинах ее отсталости в сравнении со странами Западной Европы, о ее перспективах и предпосылках их осуществления, иными словами, все то, что разводило в два остро противостоящих друг другу лагеря – западников и славянофилов.

Следует сразу обратить внимание на то, что в отличие, например, от «Разговора в Трианоне» автор «Разговора в Кремле» отнюдь не занимает при изложении воспроизводимого спора объективную и нейтральную позицию. Прежде всего, о вещах, так сказать лежащих на поверхности. В споре участвуют трое: англичанин, француз и русский. Из 42 восьмистишных строф, из которых состоит стихотворение, 7 отданы голосу автора, англичанину – 2 строфы, француз – 8, а русскому – 25 строф!

Обращают на себя внимание и те характеристики, которые автор дает участниками спора. Англичанин, именуемый «угрюмым лордом», который обуян своей «гордыней»

с надменностью явной,
Стоял, неловок и суров,
Заморский гость из стародавней
Столицы лордов и купцов,
Наследник той саксонской крови,

Которой силам нет утрат, –
И на смешение сословий
Глядел, дивясь, аристократ [1, с. 159].

Характеристика француза – вся напоминая о 1812-ом годе, о нашествии Наполеона на России, о том, как он смотрел на Москву с Поклонной горы:

Второй, в сраженьях поседелый,
Был спутник тех, которых вел
Чрез все межи и все пределы
Наполеоновский орел;
И этот в золоте заката
Блестящий города объем –
В осенню ночь пред ним когда-то
Стоял в сиянии другом (1, с. 159).

Зато в характеристике русского подчеркнута его безраздельное единство с Кремлем, с Москвой, с Россией, с православной церковью. Он

на соборы,
На круг чертогов вековых
Бросал порой живые взоры,
И сказывалось речью их,
Что был не чужд в Кремле он этом,
Не путник в этом он краю,
Что русский с радостным приветом
Смотрел на родину свою (1, с. 159)

Англичанин, признавая военную мощь России («известен в мире русский штык», «ваша рать врагов смирила», «по морям ваш ходит флот»), вместе с тем убежден, что русские были и остаются «учениками Западной земли», они многое у нее переняли, но не сумели измениться, двинуться вперед. Русский отвечает, что западная наука «не принялась» в России, потому что Россия верна своим вековым нравственным устоям («Осталось свято сердцу внука, Что было свято для отцов»). Ее незыблемыми устоями остаются престол и церковь:

Не изменяясь в род из рода,
Любя и веруя, как встарь, –
И средь гремящих волн народа
В Кремле проходит русский царь!...

Когда, облита морем света,
Молитвой теплою полна, –

Мгневением вся площадь эта
В господний храм обращена... [1, с. 160].

На этом зиждется, дескать, единство всех сословий, «и радостно вельможа знатный Целует нищего в уста».

Значительно более пространный список обвинений предъявляет русскому француз. Он укоряет Россию в том, что она веками стояла в стороне в то время, когда «Европа целая кипела Наукой, славой и трудом». Она не отстаивала христианство в годы крестовых походов, не принимала участия в Великих географических открытиях. Ей остались чужды и художественные свершения нескольких веков. Он спрашивает: когда создавалось «Преображенье» Рафаэля и «Гамлета» писал Шекспир, когда Мольер читал свои пьесы Расину и создавались архитектурные красоты Версаля. «чем были вы хвалиться вправе? Что вы в свою внесли скрижаль?» Все это, хотя и несколько отдаленно, но перекликается с мыслями, которыми было проникнуто «Философическое письмо» Чаадаева, которые разделяли и выражали, хоть и не так резко, другие западники.

Русский отвечает французам обширным монологом, занимающим половину этой «маленькой поэмы». В нем многое перекликается с тем, что писали друзья и единомысленники Павловой из славянофильского лагеря, в частности высоко ценимый ею Языков. Но тональность ее стихов иная. Здесь нет той агрессивности, озлобления, ожесточенных инвектив, которыми пронизаны языковские послания «К Чаадаеву» и «Не нашим».

Героя Павловой нападки на России повергают «в раздумье». В чем-то он готов даже согласиться с ними: «Да, не был дан моей отчизне Блеск ваших западных начал». Он объясняет это теми особыми условиями, в которых вынуждена была жить страна:

Наш край дорогой был кровавой
Варягов, готфов и болгар...
Был натиск лютой и гнет велик:
Страну губили печенеги,
Свирепых половцев орды,
И венгров буйные набеги,
И смуты княжеской вражды [1, с. 163].

Да, русским не довелось быть участниками крестовых походов, потому что они сами были жертвами «лютой натиска» и «буйных набегов»: «страну губили печенеги, Свирепых половцев орды». Здесь пылали села, рушились города, «и вдоль пути, где шли монголы, Лежала тел людских гряда». Но и в самую тяжкую годину их опорой была святая вера, и «царь небесный» был на их стороне и вознаградил их сторицей: «их молитв предсмертных слово

взнеслось к зиждителям небес:
 Послал на поле Куликово
 Нам помощь он своих чудес... [1. с. 164]

Когда Европа упивалась творениями Шекспира, Корнеля и Сервантеса, русских волновала не «прелесть вымыслов»: здесь «в пожаре рушилась Москва», «была пора, когда ждал снова Беды и гибели народ». Но он устоял и в тяжкую годину междуцарствия, и когда надеялся покорить ее «ваш смелый временщик побед», «грозный воевода» Наполеон, но вынужден был отступить, ибо ни насилье, ни картечь не смогли одолеть дух русского народа.

До последних строк обширного монолога, вложенного Павловой в уста «русского», она пропагандирует идеи, которые в основном разделались славянофилами, но в этих последних строках зримо, можно сказать, вызывающе расходится с ними. Речь идет об отношении к личности и деятельности Петра I. При ощутимых различиях, присущих отдельным представителям славянофильства, отношение это было резко отрицательным: славянофилы считали, что Петр, совершив Россию с ее исконного, естественного пути, привнес в ее образ жизни чуждые ей западные начала, принес ей огромный вред, в какой-то мере погубил ее будущее.

Здесь нет возможности углубляться в детали этой сложной проблемы, но чтобы показать всю глубину расхождения позиции Павловой с взглядами славянофилов, напомним хотя бы в нескольких извлечениях, что писал о Петре такой страстный и последовательный пропагандист славянофильских воззрений, как Константин Аксаков. Петр, утверждал он, не искал начал в русском народе, а «приносил начала чуждые». «Петр освободился от национальности, *но только русской*, покорившись другой национальности, *европейской*, и во имя последней, *чуждой*, стал гнать первую, *свою* – Такая неправда не могла не иметь вредных следствий: человеческое явилось к нам в образе чуждой, безжалостной и теснящей национальности». Он даже высоко ценимого им Ломоносова осуждал за то, что «восторг к Петру доходит у Ломоносова до неприличной крайности» [5, с. 155, 164].

Аксаков утверждал, что «в перевороте Петра, если была истина, то была и неправда и ложь», которая состояла «в полном неуважении к Русской земле, в воззрении на нее как на материал для своих планов, в подражательности и, конечно, в насилии. Петр русской земли не понимал; он понимал только русские способности. На народ смотрел он как на безгласную массу и всю Россию хотел обратить в тесто, из которого мог бы вылепить немецкие фигуры» [5, с. 173]. Перечень подобных примеров можно значительно увеличить, но вряд ли в этом есть необходимость. Они отражают самую суть славянофильской концепции Петра I. Как отмечено в «Советской исторической энциклопедии» славянофилы «обвиняли Петра I в искажении хода русской истории и измене национальному началу» [6, с. 96].

Чтобы ощутить всю меру не только смыслового, но и эмоционального расхождения Павловой со славянофилами в отношении к Петру, стоит присмотреться к каждой формулировке, к каждому эпитету, который использует поэтесса. В противоположность славянофильской манере изображать Петра безжалостным палачом восставших стрельцов, она всей душой на стороне молодого царя и сопровождает соответствующее место своего стихотворения таким примечанием: «Стрелецкие бунты во время детства Петра Великого, не раз угрожавшие ему смертью, от которой он сохранен был видимым заступлением промысла» [1, с. 168]. Нет у Павловой и намека ни на преклонение Петра перед Европой, ни на пренебрежение его к русскому народу:

И юный царь дивил на троне
 Не блеском ваши все дворы:
 Покуда в вашем Вавилоне
 Шли богомерзкие пиры, –
 Неутомимо и упрямо
 Работал он за свой народ
 И в бедной мастерской Сардама
 Сколачивал свой первый бот.

И в ваши пронеслись владенья
 Удары молотка его,
 И будут помнить поколенья
 Царя-гиганта мастерство.
 Уж восстанут молвы глухие
 Кичливых западных держав,
 Уж ненавистна им Россия,
 И близок, может, час расправ! [1, с. 166]

Но при расхождении в подходе к Петру Павлова смыкается со славянофилами в том, что противостояние России и Европы исконно и неустранимо, что у России свой бог и свой путь, которым она пойдет, преодолевая сопротивление извечно враждебного Запада:

И мы, теснимые жестоко
 Напором злым со всех сторон,
 Один без лжи и без упрека,
 Среди завистливых племен,
 На бога правды уповая,
 Под сению его щита,
 Пойдем на бой, как в дни Мамаю,
 Один с хоругвию креста! [1, с. 167]

Ни одно стихотворение Павловой не вызывало таких оживленных откликов современников, как «Разговор в Кремле». Они появились в целом ряде изданий: в «Отечественных записках», в «Москвитянине», «Пантеоне», «Северной пчеле», «Санкт-Петербургских ведомостях». Тональность их была различной, но в целом понимания и поддержки поэтесса не получила. Наибольший интерес представляет полемика, имевшая место на страницах «Современника».

В неподписанном тексте, опубликованном под названием «Библиография», говорилось: «...Нам кажется, что стихотворение г-жи Павловой производило бы большее впечатление, если б задача его не была так громадна, а рамка, избранная автором, так тесна <...> Очень громкие стихи, которыми написан «Разговор», но мы боимся, не завела ли в настоящее время г-жу Павлову страсть к новым и оригинальным рифмам далее, чем то дозволяют требования простоты, необходимой в хорошем литературном произведении [7, с. 35]. И далее: «Никто не станет спорить, что по богатству, оригинальности и новости рифм это стихотворение, которое не имеет себе подобного... Но какое впечатление оно производит? есть ли в нем поэзия? И в чем его достоинство? Оно может рассмешить, как удачная шутка, но поэзии в нем нет и тени, и все достоинство его именно в том и состоит, что оно показывает, как легко подобрать множество богатых и необыкновенных рифм, которые, впрочем, не составляют еще поэзии» [7, с. 37].

Павлова, заподозрив и, может быть, не без основания, что автором «Библиографии» был И.И. Панаев ответила ему специальным «Письмом в редакцию «Современника». Как можно заключить из этого ответа, ее больше всего задело то, что критик не уделил ни малейшего внимания содержанию стихотворения, сведя все к обилию в нем оригинальных рифм, на которые Павлова, как известно, была мастером, и не упускала случая продемонстрировать это свое мастерство. Поэтому она постаралась акцентировать то, что, с ее точки зрения, было первостепенно важным.

«Я его («Разговор в Кремле» – Ю.Г.) люблю, потому что коснулась в нем предмета, священного для меня, и написала его во время, памятное нам всем. Прошедшею весною, когда мы ожидали событий неслыханных, бомбардировки Кронштадта и войны около Петербурга, отчаянного натиска и вдохновенного отпора, когда вся родина откликнулась, когда всякий делал, что мог, что имел, дала и я свой стих, – все, что имела. Эти строфы, писанные в последних неделях великого поста, создавались почти сами собой: уверяю вас, что я не придумывала новых рифм и не искала эффектов. С русским чувством писала я в полуиностранном городе Дерпте это стихотворение» [4, т. 2, с. 333 – 334].

Панаев ответил на этот ответ, заявил, что авторство критики, которой подвергся «Разговор в Кремле» в «Современнике», приписано ему ошибочно и всячески пытался заверить поэтессу в уважительном и дружеском отношении к ней. Неизвестно, поверила ли этим уверениям Павлова, но и современники, и

позднейшие комментаторы, продолжают считать автором критики именно Панаева. Это подтверждается, в частности, язвительным стихотворением Е.П. Ростопчиной, которая не упустила случая высмеять свою давнюю соперницу. Оно называется «Песня по поводу переписки ученого мужа с не менее ученой женой» и заканчивается так:

На Коринну он критику злую
Напечатал в журнале своем;
А она-то статью громовую
Наскребала сердитым пером.

Густолиственных липок аллея, –
Ты для мира значенья полна!
Друг на друга враждой пламенея,
Ныне злятся и он, и она! [1, с. 567].

По мнению П.П. Громова, «сама К. Павлова фактически признала правоту критики несколько позднее, в момент, когда завершался ее творческий путь в русской поэзии: издав в 1863 году свой итоговый (и единственный) сборник стихотворений, она не включила в него “Разговор в_Кремле”. Оценивать это иначе, как отказ от этого стихотворения, от его концепции – невозможно» [1, с. 53].

Литература

1. Павлова К.К. Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1964.
2. Лебедев Е.Н. Познания роковая чаша (Лирика Каролины Павловой) // Павлова К. Стихотворения. М.: Сов.Россия, 1985.
3. Кони А.Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989.
4. Павлова К. Собр. соч. В 2-х т. М., 1915.
5. Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1895.
6. Корецкий В.И. Петр 1 // Советская историческая энциклопедия т. 11, М., 1968, стб. 93–97.
7. Библиография // Современник, 1854, т. 47, № 9, отд. 4, с. 34–38).

Аннотация

Жанр «разговора» не был новым в русской поэзии: к нему обращались Ломоносов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Веневитинов, Некрасов и др. Но в отличие от своих предшественников Павлова ввела в него авторское «я». Предметом «Разговора в Трианоне», который она считала своим лучшим произведением, были исторические и философские проблемы, волновавшие Павлову на протяжении всей жизни. «Разговор в Кремле», написанный во

время Крымской войны, был попыткой разобраться в отношениях России и Запада, в причинах ее отсталости и перспективах избранного ею пути.

Анотація

Жанр «розмови» не був новим у російській поезії: до нього зверталися Ломоносов, Грибоедов, Пушкін, Лермонтов, Веневітінов, Некрасов та інші. Але на відміну від своїх попередників Павлова ввела в нього авторське «я». Предметом «Розмови в Тріаноні», який вона вважала своїм найкращим твором, були історичні та філософські проблеми, які хвилювали Павлову на протязі усього життя. Твір «Розмова в Кремлі», написаний під час Кримської війни, був спробою розібратися у відносинах Росії і Заходу, у причинах її відсталості та перспективах обраного шляху.

Summary

The genre of “conversation” was not a new one in Russian literature: it had been applied to by Lomonosov, Griboedov, Pushkin, Lermontov, Venevitinov, Nekrasov etc. But in a difference from her predecessors Pavlova put into it the author’s “I”. The subject of “Razgovor v Trianone”, which she considered as her best work, was historical and philosophical issues, with which Pavlova was disturbed through all her life. The poem “Razgovor v Kremlе”, which had been written at the time of Crimean war, was a kind of attempt to understand the relationships between Russia and the western part of the world, the reasons of its backwardness and prospects of the chosen way.